По какому-то чрезвычайному случаю закрыли на несколько дней столовую.

Помню знойное лето в Харькове. Знаменитый год поволжского голода и день смерти Блока [В 1921–1922 гг. в Поволжье, на юге Украины и в Крыму был страшный голод: голодало более 30 млн. человек, 5 млн. умерло. Поэт Александр Александрович Блок скончался в Петрограде 7 августа 1921 г.].

Мы третьи сутки ничего не ели. У нас не было в городе ни родных, ни знакомых, у которых можно было бы, не краснея, попросить кусок хлеба или ложку холодной, пресной каши без масла.

Конечно, нам случалось голодать и раньше. Но так долго – впервые.

Между тем на базарах уже появилось сколько угодно пищи. Но от этого нам было ничуть не легче. Наоборот. Не имея денег, чтобы купить, и вещей, чтобы продать, ослабевшие и почти легкие от голода, мы слонялись по выжженному городу, старательно обходя базар. Нам было бы легче съесть полную столовую ложку сахарного песку пополам с солью, чем пройти по августовскому великолепию украинского рынка, среди пирамид лакированных помидоров, мраморных досок сала, чудовищных пшеничных калачей, низок табачных листьев, распространявших на солнце аромат алжирских фиников.

Мы жили в большой гостинице, превращенной в общежитие. Солнце жгло полотняную штору пустого, гулкого номера, в котором не осталось ни одной вещи, годной для продажи. Не говоря уже о простынях, наволочках, одеялах и даже наперниках, мы умудрились пустить в ход тиковые тюфяки [набитый соломой, сеном и т. д., служащий постелью мешок из тика, плотной льняной или хлопчатобумажной ткани, обычно полосатой.]. Мы выпотрошили из них морскую траву, в течение нескольких дней небольшими порциями выбрасывали ее в окно, а оболочки спрятали под рубаху, в припарку, и, благополучно пройдя мимо дежурного коменданта, снесли на базар.

Внизу, возле единственного входа, нас караулил нищий, старик папиросник. Мы брали у него в долг папиросы. Он никогда не напоминал нам о долге. С деликатностью, разрывавшей сердце, он наклонялся к своему фанерному ящику и, делая вид, что не замечает нас, перебирал трясущимися руками самодельные папиросы, сложенные десятками, пятками и тройками и аккуратно перевязанные шпагатиком. Мы старались проходить мимо него как можно незаметней. В конце концов приходить и уходить стало для нас пыткой. Мы старались выбираться из гостиницы на рассвете, а возвращаться в полночь. Но иногда его согнутая тень стояла в вестибюле и в полночь.

В один из этих дней мы до вечера пролежали на выжженной траве городского сада под преждевременно свернувшимися листьями сирени. Как некрасив и беден был этот черствый сад, весь в пыли и каком-то особом мелком соре, при малейшем ветерке летевшем в глаза! Щепотка табаку могла заглушить голод и сделать нас счастливыми, но никто не бросал окурков. Мы теряли сознание.

Однако мы совсем не чувствовали себя нищими.

Понятие «нищета» имеет привкус унижения и безнадежности. Это никак не подходило к нашему здоровью, молодости и общественному положению. Мы были члены профессионального союза, работники ЮгРОСТА [южное отделение Российского телеграфного агентства, центрального информационного органа Советского государства в 1918–1925 гг.], поэты революции, агитаторы. Редкий митинг обходился без нашего выступления, и наши четверостишия были написаны на всех плакатах города.

Чудесное, неповторимое время!

С гордостью и жаром занимали мы ту вакансию, которая сейчас некоторым кажется опасной.

Маленький портрет Блока в черной типографской рамке выгорал на витрине радиотелеграфного агентства. За два дня белый отложной воротник поэта стал желтым. Сухая пыль времени покрыла длинное утомленное лицо с прекрасными курчавыми волосами. Крупные губы, распухшие от жажды, просили пить.

Это была первая мирная смерть. Может быть, поэтому она показалась такой ужасной. Вместе с Блоком уходила часть нашей молодости. В жизни образовалась пустота. Такие пустоты, лишенные звезд, бывают в мировом пространстве. Они называются угольными ямами.

Ночью в открытом окне зияла угольная яма неба. От слабости мы не могли спать. Мы лежали голые, сырые от пота на горбатых матрасах, прислушиваясь сквозь нежный шум в ушах к звукам и шорохам ночи. Хрустели пружины матрасов. Рассыхаясь, стрелял пустой гардероб. По коридору со звоном прошел кавалерист. И до рассвета голодные сверчки катали и грызли голубую звезду, валявшуюся на подоконнике.

Настало утро, знойное, как полдень. Соседняя церковь трясла всеми своими колоколами, звонками и бубенчиками, как расписная застоявшаяся тройка. Тошнило от этого бесцеремонного праздничного трезвона. Идти было некуда и не для чего. Мы лежали с закрытыми глазами. Уже не хотелось ни есть, ни курить. Ничего не хотелось. После полудня солнце ворвалось в номер. Воздух кипел. Лень было опустить штору. Во двор приходила шарманка. С тошнотворной отдышкой побежали ангельские звуки, извлеченные дрожащей рукой из буковых свистулек. Площадная певица закричала развратным голосом.

Такое положение не могло продолжаться вечно. Однако оно продолжалось. Говорят, что факиры обходятся без пищи по сорок дней. В конце концов, это даже становилось смешно. Любопытно, чем все это кончится? А кончилось совсем просто: по коридору пробежали деревянные сандалии, дверь с треском распахнулась, на пороге стоял Арнольд. Он тяжело дышал.

Ах, дорогой Арноша, друг нашей замечательной молодости, неутомимый одесский комсомолец, наш первый политический комиссар и организатор наших устных выступлений! Партия доверила тебе судьбу двух молодых беспартийных поэтов. Партия сказала тебе: береги их, они способные ребята, они нам пригодятся, научи их выступать на митингах и на устных газетах, сделай из них людей. Ты стал нашим руководителем и другом. Ты доверял нам. Мы не обманули тебя. А ты не обманул партию.

С утра до вечера ты возил нас по заводам, клубам, красноармейским частям, агитпунктам, школам и санаториям. Хриплыми, сорванными голосами читали мы свои стихи. А ты в это время стоял за кулисами, сложив на животе руки, усыпанные желтыми веснушками, и полузакрыв от удовольствия глаза. И если мы имели успех, ты радостно подходил к нам, одобрительно тер нам спины осторожной дружеской рукой и нетерпеливо подталкивал к выходу, чтобы мы не опоздали на следующее выступление. Ты хозяйственно усаживал нас в линейку [длинный многоместный открытый конный экипаж, в котором сидят боком к направлению движения] или автомобиль, а сам всегда вскакивал уже на ходу и мчался стоя, в английской врангелевской фуражке на затылке, потный, рыжий, с потрескавшимися губами, в расстегнутой куртке, под которой виднелась вечная сатиновая рубашка ремесленника, подпоясанная тоненьким ремешком. Таким ты врезался в мою память навсегда. Где ты сейчас, дорогой Арноша? В каком политотделе?… Помнишь ли ты знойный день в Харькове, когда ты ворвался к нам в номер, крича еще с порога:

– Ребята, скорей! Машина внизу! Три выступления!

Мы тотчас вскочили. В те времена за выступления платили продуктами. Судьба посылала нам оливковую ветвь [символ мира.]. Машина рванула. Площадь вывернулась перчаткой. Ветер поднял волосы.

Первое выступление было в красноармейской части. Мы читали в столовой. Только что кончился обед. На столах еще лежали корки и ложки. Наевшиеся мухи сухо жужжали под выгоревшими флажками. Ах, если бы мы приехали часом раньше! Красноармейцы хлопали нам и просили приезжать еще. Начальник клуба сердечно благодарил. Он обещал завтра же выписать нам полный полумесячный красноармейский паек. Мы помчались дальше.

Следующее выступление должно было состояться в богатом железнодорожном доме отдыха. Это было совершенно верное дело. Нигде так сытно не накормят, как у железнодорожников, да еще в доме отдыха, где всегда есть много еды. Однако судьба издевалась над нами. Бедняга Арнольд перепутал день выступления. Нас, оказывается, ждали вчера. В полуциркульной зале прекрасного дворянского загородного особняка, сидя в белом шелковом кресле, вышитом лилиями Бурбонов [геральдическая лилия, эмблема французских королей.], седовласый старец, со всех сторон обложенный бутербродами с повидлом и творогом, читал лекцию по истории рынков древнего Леванта [общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Египет, Турция, Греция и др.).]. Мы вышли на цыпочках.

Чад автомобильной смеси, которой в то время заправляли машины, был нестерпим. От него можно было упасть в обморок. Укачивало. Тошнило. Мир состоял из ярких до рези предметов, обведенных грубой лиловой краской.

В синем саду коммунальников играл оркестр. Толстые лилии аккуратно торчали из серых, чересчур черных клумб, обставленных изразцами. Теплая сырость вечерней поливки и гипсовые фигуры говорили о близости золотого века. Нарядная молодежь, терпеливо дожидавшаяся наступления темноты и начала кинематографа, охотно выслушала наши произведения. Мы имели успех. Арнольд ласково растирал за кулисами наши горячие спины, похлопывал по плечам и толкал к выходу.

Заходило солнце. Кирпичные стены, окружавшие сад, горели вверху, как свежевыскобленная морковь.

Завклубом, назойливо мелькавший в саду все время, пока мы читали, теперь провалился. Мы подождали его минут двадцать и поплелись к выходу, провожаемые любопытными взглядами девушек и до слез печальными тактами вальса.

На сегодня все было кончено.

– Товарищи, куда же вы? Одну минуточку…

Весьма возможно, что уже начиналась галлюцинация. За нами бежал заведующий клубом, размахивая ведомостью.

– Вам тут причитается… За выступление… Вы меня, ради бога, простите… По два фунта хлеба, по полтора фунта сахара и по восьмушке табаку… Так что вы на меня, ради бога, не обижайтесь, но вам придется пройти со мной в кладовую… Это совсем недалеко…Мы охотно простили этому милому молодому чудаку в чистенькой толстовочке и аккуратных деревяшках на босу ногу все неполадки его организации. Бодрым шагом шли мы за ним по улицам, до головокружения представляя себе хлеб, который сейчас получим, – его вкус, цвет, запах, вес. Он уже лежал у нас в желудке.

Но вот и двор. Лестница вниз. Подвал. Прилавок. Весы. Полки.

– Товарищ Сердюк, будьте такие ласковые, отпустите товарищам артистам, что полагается по ведомости.

Облитая керосином лампочка освещала вышитую рубашку товарища Сердюка, его аккуратно зачесанные височки, небольшие стальные очки, серебряную бородку – все эти незначительные подробности маленького, медлительного аккуратиста-украинца, отбрасывавшего от себя на своды подземелья грандиозную тень заговорщика-революционера.

С медлительностью, приводившей нас в отчаяние, он всесторонне освидетельствовал ведомость, после чего с тяжелым вздохом положил на прилавок четвертку табаку и тщательно разрезал ее хлебным ножом на две совершенно равные части. Затем он так же тщательно отвесил две порции сыроватого сахарного песку и добросовестно завернул каждую порцию в лист бумаги, вырванный из какого-то дореволюционного судебного дела. Затем, хорошенько очистив ручки от сахарного песка, он взял с прилавка керосиновую лампочку и понес вдоль полок бьющееся сердечко пламени. Возвратившись назад, он сказал:

– За хлебом можете прийти завтра. Или же, если вам почему-либо неудобно приходить завтра, то могу вам выдать вместо причитающегося по ведомости хлеба соответствующее количество сахарного песку. Выбирайте, милости просим.

По нашим расчетам было около шести часов. Мы еще могли поспеть на базар до его закрытия. Можно было обменять сахар на хлеб. Мы схватили кульки и бросились вон. Ох! Как мы лупили! Мы пробежали три версты в каких-нибудь пятнадцать минут. Мы обливались потом, черным от пыли и горячим от солнца. Нам казалось, что мы выдыхаем пламя. Напрасно! Мы не имели представления о времени. Было уже около семи. Единственный милиционер одиноко брел по выжженной пустыне закрытого базара.

Мы посмотрели друг на друга и, поджав губы, бодро усмехнулись.

Не торопясь, мы пошли по городу, жадно набивая рот сахаром, приторным до обморока. В первый раз за все эти три дня мы вдруг ощутили приближение к самой настоящей нищете.

Затем внезапно в природе этого слишком затянувшегося дня произошло явление, равное падению метеорита.

На нас из-за угла крупными скачками несся брус поразительно хорошо выпеченного ржаного хлеба величиной с палку искусственного льда. Его с трудом держал под мышкой запарившийся паренек – шофер, с молодым, блаженно-испуганным лицом счастливчика и балагура. Вероятно, удачи преследовали его всю жизнь, как влюбленные девчата. Они задаривали его с ног до головы новым обмундированием: кожаной фуражкой, кожаным костюмом и жирными юфтовыми [особый сорт мягкой кожи.] сапогами до колен. Как видно, он только что получил недельный паек хлеба и мчался на базар поскорее его продать.

Мы успели схватить его за локоть.

– Товарищ, базар уже закрыт. Абсолютно ни одного человека. Меняете хлеб?

Он остановился с разбегу как вкопанный и посмотрел на нас обалделыми глазами бесшабашной русской синевы.

– Можно! – сказал он, не переводя духа. – А на что менять-то?

– На сахар.

– На кой шут мне ваш сахар!

Он подкинул коленкой хлеб, подобрал его покрепче под мышку и уже собирался идти дальше, как вдруг ему пришла мысль: а и вправду, чем черт не шутит, не поменять ли хлеб на сахар? Потом, в свою очередь, сахар можно будет продать или обменять на что-нибудь другое, а это другое – еще на что-нибудь совсем другое, а там еще что-нибудь подвернется!.. Собственно, ему решительно не нужно было ни продавать этот хлеб, ни менять. Но, как видно, его терзал хлопотливый бес мелкой торговли, еще довольно живучий в то время.

– Сахару-то у вас много? – деловито спросил он.

Мы показали ему кульки.

– Нам бы фунтика два хлеба.

– Ну-у!.. – сказал он разочарованно и даже как бы несколько оскорбленно за то, что мы осмелились равнять «наш паршивый сахар до его прекрасного хлеба». – Ну-у, овчинка выделки не стоит! Буду я отрезать два фунта: только цельную вещь испортишь! Нет уж…

Он посмотрел укоризненно, тряхнул конопляными кудрями и побежал дальше, но вдруг остановился, обернулся, еще раз посмотрел на нас пристально, очень сознательно, как будто увидел нас впервые, и, стыдливо став боком, вытащил из недр своих блестящих кожаных штанов на байковой подкладке большой складной нож с цепочкой.

Он отрезал от хлеба большой кусок, фунта в три, молча отдал его нам и быстро пошел прочь.

– Товарищ! – закричали мы. – Вы забыли сахар!

Он с досадой махнул рукой и, не обернувшись, скрылся так же быстро, как и возник.

Мы посмотрели друг на друга и вдруг увидели себя как бы со стороны.

Лохматые, обросшие десятидневной бородой и усами, покрытые грубым загаром, черноусые, в мешочных штанах и серых бязевых рубахах с клеймом автобазы, почти босые, выглядевшие на двадцать лет старше, чем на самом деле, мы стояли посреди чужого города, как два бандуриста, как два пророка, покрытых черствой пылью веков.

Мы спустились к реке и сели под мостом, по которому гремели трамваи.

Почти высохшая река резко блестела в глаза широким разлужьем, отражавшим белое заходящее солнце. В воде лежала дохлая корова, подобная деревянной ложке.

Тут на травке мы и съели наш чудесный хлеб.

Мы ели его не торопясь, с непокрытой головой, как крестьяне, бережно собирая в горсть вкусные крошки, смоченные соленым потом, струившимся с наших лиц.



